

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан



Сергей Залыгин был одним из тех, кто поддерживал Николая Воронова в Москве

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 27.

Равнодушие к битым

В конце 70-го года я переехал в кооперативный дом на проспекте Вернадского. Мой переезд в Москву Ткаченко предваряет словами: «... Битых у нас любят, из битых выходят самые ревностные служители. Что не медля и доказал Воронов. На всех собраниях, съездах, совещаниях лез на трибуну и произносил такие пламенные речи с наизусть заученными цитатами из Брежнева, так пекаря об идеологической чистоте писательских рядов, что всего повидавшие москвичи только головами покачивали: столь яростного «бойца» у них давненько не бывало. Откуда он взялся, что написал?..»

На блуд голословщины сатанинской опять сел Ткаченко. Как влез на него, то и у самого, как и у «осла», не захлопывается пасть для бесконтрольного и беспросветного базания.

Любят ли у нас битых? Когда стремился перебраться в столицу и переехал, мне запомнилось, что зачастую наш брат-писменник сторонился меня, а коль был при чинах, даже на мою мало-мальскую просьбу отфутболивал меня ко мне самому. Подобным образом, как правило, вели себя мои преуспевающие в высоких должностях соученики по Литинституту и друзья. Увы, тот период в основном отличался равнодушием к битым. Исключение составляли лишь отдельные крупные личности, полные традиционного национального благородства. За более чем двадцать лет наезда в столицу с длительным поселением в гостиницах или обоснованием в подмосковных Домах творчества я познакомился с множеством, если не с большинством, московских писателей; у отдельных из них порой останавливался. И все же, сделавшись постоянным жителем столицы, я впал в одиночество. Москвичей нижеупомянутого периода отличала тяга к провинциалам. Провинциал из жизни, из неведомых в чем-то недр ее, москвич – обитатель всезнания, граничащего с однообразием, сытостью, скукой обеспеченности, закольцованными линиями существования, подобья трамвайных маршрутов.

Зона бестревожности

Да, именно одиночество обуславливалась тем, что ты теперь свой, куда благоустроишься, и не до гостей тебе, и не до застольных встреч на перепутьях. Разумеется, моя одиночество нагнеталась многолетней усталостью. Едва окончил ремесленное училище и стал работать на металлургическом комбинате, я еще и взялся учиться в школе взрослых. Трудовая неделя по сменам шесть дней, пять раз в неделю школа, час езды на доменную подстанцию, восемь часов дежурства на ней, час езды домой, не меньше часа добираться до школы и столько же обратно. Уроки – три-четыре часа. Сон – восьмая

часть суток. С 1943 года по 1947-й ел один раз в сутки. Опять же не без спасительных дней, особенно весной и осенью, во время, отведенное на утиную охоту.

После досрочной сдачи литинститутских экзаменов я получил путевку в санаторий бывшего прусского городка Гранца, где раньше лечилась гитлеровская верхушка. Год был 1949-й. За 55 лет, прошедших с той поры, я лишь единственный раз оказался в санатории: берег время не столько для здоровья, сколько для писательства.

Тропаревский холм, куда поставили наш крупнопанельный, в двенадцать этажей дом близ хвойно-березовой рощи, при всей своей привлекательности таил внезапное неуютство. Оно возникало ночами. Ложился спать – ни в чем вроде не проявлялось беспокойства. И вдруг ты пробуждаешься от таких вибраций, что невмоготу оставаться в постели. Переходил в кабинет, на кровать, и там не в силах улежать от преболевых пульсаций, бьющих снизу. Уходил на кухню, читал, делал записи. Там сохранялась з о н а бестревожности. Как-то позвонил в Гидрометцентр СССР, чтобы узнать о происхождении вибраций. Задорный голос ответил: Москва трясет триста раз в году, но это – микроземлетрясения, неощутимые для людей, их воспринимают только животные и птицы. Правда, имеются человеческие особи, наделенные сверхчувствительностью, один на миллион.

Мою жену Татьяну Петровну и детей, Ирину с Антоном, не тревожили вибрации. И мне нет-нет и мнилось, быть может, я действительно обостренно воспринимаю микроземлетрясения. Но почему они воздействуют на меня лишь ночью, а днем куда-то исчезают? Кому уж, не помню, я рассказал о своих страданиях, доходящих почти до невыносимости, то ли Можаяеву Борису, то ли Залыгину Сергею, и он сказал, что тут не исключены психотронные воздействия. Ты вошел в противоречие с властью имущими силами, и они распорядились подвергать тебя этому тайному способу наказания.

Защита от психотроники

Я разыскал руководителей общественного комитета от психотронного преследования, и они наделили меня приборами защиты от психотроники, а также дали советы, с помощью каких материалов и средств необходимо оберегаться.

Еще в Калуге я принял за сказку «Про Игдара-добросерда и его поцелуйного сына Длиннозуба»; в Москве продолжил ее, для завершения этой вещи уехал в Коктебель. Около сотни страниц, отпечатанных на машинке, я привез с собой перевязанные бечевкой, они лежали в папке. Работалось мне влады, с утра до ночи. Иногда уходил за мыс Хамелеон, ради разминки, купания на безлюдье и возвращения в Дом творчества через гору Волошина.

Однажды потребовалось уточнение печат-

ной части рукописи. Открыл папку, развязал бечевку, а надобного места в середине сказки не обнаружил: оно оказалось в самом конце. Чьи-то осведомительские зенки шарили по страницам сказки. Да, видно, сыщика предупредили о моем возвращении, и он не успел вставить страницы туда, откуда они были вынуты.

Жил я в 12-й квартирке Третьего корпуса. Вскоре после обоснования тут я собрал посылку семье с грецкими орехами, яблоками, инжиром. Но не успел отправить ее: слямзили с балкона местные мальчишки. По бловству могли стащить они и свежие рукописные листочки, поэтому я подсовывал их под скатерть, покрытую пленкой, а поверх ставил настольную лампу. Двухмесячная вдохновенная наработка образовала под скатертью стопу страниц на 150. Для закругления сказки оставалась неделя-полторы, но я заранее не успел продлить пребывание в Коктебеле, и наступила пора отправляться восвояси.

День отъезда. Я, не торопясь, упаковываюсь: путевочный этот день еще мой. Вдруг вбегают в комнату директор Дома творчества Иван Васильевич, он – полковник в отставке, до получения сей должности был комendantом южнобережной дачи председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Характером прочный Иван Васильевич, до бестревожности. Внезапное волнение, сотрясавшее весь его огромный мясистый

организм, отзывалось чем-то взвинченно-искусственным, что непроизвольно подумалось: он обучен политически-охранному лицездействию.

– Приезжают Лунгины, – одышливо, колыхая щеками, вскричал директор. – Они капризные. Придиры еще те. Должности могут лишить.

Перебором пахнуло: его ли, кто побывал на особо культивируемой службе, должности лишат?

– Переходите к Анатолию Чехову, в 13-й номер. Там дособеретесь.

– Заезд ведь завтра. И вообще Лунгины – тележурналисты, приехал бы писатель масштаба Леонида Леонова, Александра Твардовского – другой коленик.

– С Чеховым договорился. Сейчас придет Вера производить уборку. Прошу вас!..

Перетаскал в соседний номер свои причиндалы. Предстояло отправить домой посылки с камнями, окаменелостями, книгами, киммерийской польной, гроздыми софору, грецкими орехами из старого Крыма – на редкость вкусные и в тонюсенькой скорлупе. Спустился во дворик. Забываю посылку на скамейке. А на балконе, где обретался часок тому назад, – критик Виктор Васильевич. Возлежит в кресле-качалке и смотрит на море поверх смоковницы, сливы, айлантуса, будлеи очереднолистной, увитых обвойником.

Летучее общение

Вот ради кого выставил меня директор. Он и Виктор – друзья. С Виктором у нас летучее общение, хотя мы знакомы четверть века. Когда я жил в Магнитогорске, он получил важное назначение в издательстве «Советский писатель» и сразу предложил мне официальным письмом дать сборник рассказов и повестей для отдела прозы. Приглашение в самое крупное и знаменитое издательство страны было случаем неординарным, и я, конечно же, не замедлил быстро отозваться на него. О Викторе я слышал. В аспирантуре московского университета его мордовали за смелое и сложное толкование образа Григория Мелихова из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», и все-таки Виктор не склонился к однорасочному видению Григория Мелихова перед профессорами от казенного литературоведения. В Москве мы редко встречались. Жанровые интересы не совпадали. В дружбе он не распылялся. Дружил с критиком энциклопедического типа Олегом Михайловым. Позже оба они займутся исторической прозой. Но, пожалуй, крепче всего объединяла их страсть к теннису. Общим патронировал директор «Коктебеля»: давал апартаменты в лучших корпусах и особняках.

О том, что Иван Васильевич ради него вытолкнул меня к Анатолию Чехову, Виктору, нет сомнения, было известно, потому он, возлежа в кресле-качалке, делал вид, будто бы не замечает меня, забываящего посылки в дворике. Виктор покинул лоджию, едва там с ведром, шваброй, тряпками появилась уборщица Вера, местная болгарка, побывавшая с матерью во время оккупации Крыма в немецком или румынском концлагере. Всегда-то она была молчалива, тускловата, душевно закрыта. Когда приторачивал посылку к ремням, наши взгляды с Верой встретились. Я поздоровался, она кивнула. Уходил на почту, Вера с пристальной пытливостью смотрела на меня, и я подумал: «Она что-то знает?» Возвращаясь с почты, я увидел ее с другой стороны корпуса, в коридорном окне, и та же мысль, но уже не вопрошающая ровно, бестревожно, а как бы заволаживающая дыхание до внутреннего ожога, повторилась: «Она что-то знает?» – А к ней добавилось: «Знает что-то глубоко важное для меня». Захотелось узнать: «Что?!» Но я отмахнул этот порыв, хотя в тот же миг укорил себя: «Буду ведь жалеть».

Я сходил на автостанцию за такси, погрузил в багажник чемодан и рюкзак. Вера стояла возле хозяйственного тамбура, у двери которого я оставил сетку с лапами, маской, дыхательной трубкой, резиновыми шлепками. И в третий раз я был охвачен догадкой, да такой пронзительной, что даже не попрощался с Верой: «Она молчит о чем-то очень сокровенном для меня».

В Курске, сойдя на перрон, чтобы купить местной антоновки, я внезапно вспомнил, что оставил на письменном столе, под лампой, рукопись второй половины «Сказки про Игдара-добросерда и его поцелуйного сына Длиннозуба». Хотел позвонить с вокзала в контору Коктебеля, но отложил до возвращения в Москву: еще опоздаешь на поезд 🚂

Продолжение следует

> Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение. Дмитрий ПИСАРЕВ